



А. К. ЗАКРЖЕВСКИЙ

Карамазовщина.

Психологические параллели: Достоевский, Валерий Брюсов, В. В. Розанов, М. Арцыбашев

<Фрагменты>

I

О, ступайте ж, ступайте дорогой падения
Ниже, ниже спускайтесь в зияющий ад,
Где под огненной бурей все преступления,
Точно змеи, шипя, в беспорядке кипят!

Бодлер

Есть в творчестве Достоевского особая область, целый мир, полный своих красок и звуков, совершенно отличный, замкнутый, сложный. Это *карамазовщина* — мир пола, трагедия пола, его очарование, его мистика и его ужас. Здесь элемент сладострастья, присущий Достоевскому, упал как порох в огонь, и вот вспыхнула эта затаенная, усложненная, своеобразная жизнь, и в ярком багровом зареве совершаются тайны и мистерии плоти. Здесь душа больная запуталась в кошмарных построениях пола, и наступило забвенье истомленное, в вихре видений и лихорадочных снов, прерываемое бешеным криком, или изнемогающим стоном, или безмолвной, страшной судорогой... Безвольно, но всецело, но безумно отдалась душа полу и длится объятье томительно долгим аккордом, и замерли силы, а на самом дне, где творчество, — всходят новые всходы, рисуются тихие узоры новой трагедии, раздвигается новая завеса сверхчеловеческой боли!..

Есть Эрос и эротическое, то, что родила эллинская культура, то, что метафизировал Платон, то, что воплотилось в Венере Милосской. Здесь красота спокойная, величественная, стройность линий, ти-

хий покой аккордов и красок творят гармонию, которая восхищает, но не волнует. Здесь жизнь вошла в искусство и перестала быть жизнью, здесь гармония и тот порядок, та дисциплина, присущая чистому искусству, — уничтожила муку, отодвинула на второй план ужас плоти, представив только ее художественную схему, сделав из нее искусственный и безвредный экстракт. Вот почему, когда Платон объясняет любовь, когда Эрос отражается в классическом искусстве, мы остаемся спокойны в созерцании, и пламя не охватывает нас. Но любовь, но плоть — это ведь страшные провалы жизни, это надрыв природы. Это корень жизни и ее зародыш, вот почему так страшно подходить к нему, вот почему от прикосновения к этому корню отзывается стоном мировая боль в наших сердцах.

Достоевский объяснять пол не пытался, он болел им, более того, пол иссушил, обессилил его, — и вот, снова вместо искусства явилось страдание. Вместо гармонического восхищения перед Эросом — Настасья Филипповна, вся истерика пола; вместо обоготворения любви — сладострастное хихикание Федора Карамазова. Пол истерзал Достоевского, как истерзало его всякое проявление жизни, пол вырос в сердце его ядовитым растением, и оно одуряющим запахом окутало и Настасью Филипповну, и Грушеньку, и Ставрогина; у всех их именно этот ядовитый, раздражающий, странный аромат, и все они окутаны дымкою кошмарного очарования, и не на людей похожи они, они — живые символы души, истерзанной полом. На этой почве выросло много странного, извращенного, уродливого и преступного, родственного самому маркизу де Саду и уже ожидающего какого-нибудь Крафта-Эбинга¹, здесь преступность и уродливая извращенность опьяняют сознание! Здесь ярко выразилась мысль, что власть пола беспредельна, что она святого может сделать преступником и ангела превратить в демона извращенности!

Женщина — вот основа этой стороны творчества Достоевского. Женщина создала этот особый мир чадных видений, исступленного эротического мистицизма, русалочьих чар, в которых так сладко извивается душа, и вот уже заколдованные сны кажут ослепительные бездны каких-то новых откровений, слишком утонченных, слишком неуловимых, для которых еще нет слов, которые рыдают в тающих полутонах бреда, замороженного вакхической улыбкой Настасьи Филипповны или мерцанием тонко-прозрачных рук Сони Мармеладовой.

И в душе бешеный вихрь одержимости. И кажется, что весь мир качается в руках женщины, и в сладострастном огне истлевает сердце... И страшно.

Когда князю Мышкину первый раз попалась карточка Настасьи Филипповны, он весь замер в восторге, и восхищение его какое-то

нечеловеческое, в нем радость страдания перешла границы обычного и кажется, что открылась завеса какой-то управляющей миром Тайны. И улыбнулся и замер. И экстазно озаренные глаза вспыхнули светом лучистым, и воцарилась тревожная, странная музыка, и каждый аккорд — ожиданье, и радость, и безумный, душу раздирающий смех. А из темной дали надвигается сила и роняет злые цветы волшебства, и все вокруг и дико, и воспаленно, и жутко. Нервы вымотаны в струны палящей боли, и по ним тихо скользит высокая и змеиная, с дерзко прищуренными глазами, с яростным, застывшим криком, вызывающим криком на искаженном красотой лице, и каждая черта, каждое движение, каждый изгиб тела звонко поет: «Я — царица, я — мир, я — власть»!

И Мышкин-Достоевский понял и уверовал, и с тех пор женские чары жутко скользят между строк и одурманивают, и не дают жить, и сладостной пыткой изводят очарованную душу.

Женщина — вампир, женщина — терзание, женщина — боль... В каждом женском образе Достоевского горят эти понятия. У него, когда надвигается женщина, становится страшно тихо, как перед грозой, открываются глубочайшие недра, струится черное, смолистое вино опьянения... Слышны удары сердца, и сквозь заплетающийся вихрь отрывочных фраз прыгает, корчится, извивается, всхлипывает истерика, и глаза подернуты туманом истомленности, и в страстных, изнемогающих корчах задыхается жизнь...

Словно наступила женщина своею ногой на самый основной корень души, — и вот горит все пламенем отчаянной, безвольной любви, какого-то палящего оргазма, соединенного с бешеным воплем литургийного восторга и сатанинского проклятья.

Наступила ногой и смеется. И как сладостной сказкой, сумасшедшей, пресыщенной и больной сказкой озарен ее смех, и открываются дали, закутанные завесами глухих тайн, и кружится голова от надрыва, и все тело свивается в дикую пляску безумного, оргиастического иступленья, и снова тихо, — и летишь вниз, замирая в паденьи и страхе, и куда-то улетает душа, — и весь — спаленная жертва, а она четко и тихо проходит сквозь душу властными шагами!

Но это терзание блаженно, и хочешь, чтобы оно длилось вечно, безумно хочешь, чтобы прозрачность рук выворачивала душу, чтобы злая насмешка издавалась над счастьем, чтобы в золотых сетях застывшего очарования все длился этот истомленный, пьяный, сумасшедший смех!

И уже в романе «Игрок» герой говорит женщине, словно замирая в восторге, ведомом только одному Достоевскому:

«Мне у себя наверху, в каморке, стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искушать готов».

Вот в этих-то словах открываются жуткие и манящие начала карамазовщины.

Всюду потом отражение женских лиц в творчестве приводит Достоевского в род сладострастного бешенства, и он готов искушать себе пальцы от одной тени женщины. А последняя, почти каждая, окутана им же самым ароматом садического волшебства — и терзает, и мучит, и хочется кричать, хочется плакать, безумствовать, умереть в восторге, а чудесная мистическая красота струится в этом обаянии, и к сладострастью тела примешивает жестокое, еще страшнейшее *сладострастье души*. Одни из них — чисто демонические, чувственные, сладостные царицы тела, другие — все сотканное из души, одержимой безумием, — чарующим, страстным.

Женщина — болезнь. Каждый из героев Достоевского болел женщиной, — и эта болезнь стала выше сил, стала безумием, — и вот Версиков, уже *мертвый от женщины*, проходит пред нами как чисто современный человек... И эта болезнь потом переходит во что-то сложное, слишком утонченное, слишком запутанное — и безгранично мистическое — и становится символом. Символ этот — карамазовщина, власть пола, мир особый и чудесный, мир очарованья, пресыщенья и опьянения.

Сладострастие плоти и духа — вот неотделимые элементы карамазовщины — элементы, делающие из нее нечто очень близкое нам, современное, и поэтому особенно интересное. Все, что близко и дорого нам в этой области — и Бодлер, и Гюисманс, и Барбэ де-Оревилю², и Оскар Уайльд, и Сологуб — все исходит из этого источника и кажется чем-то родственным нашему надорвавшемуся духу, и мы приближаемся к этим мрачно тлеющим искрам таинственного, и желаем раздуть их во что-то спасительное, литургийное! И забываем, что у Достоевского давно уже расцвел и оформился этот будто бы открытый нами на Западе мир!

И эта «извращенность», выражаясь шаблонно, — не только объективно утверждается Достоевским, так это сделал Золя в своих романах, но представляет нечто его, субъективное, дорогое и любимое, составляет вторую натуру Достоевского. Неизданная глава из «Бесов», а также неизданный дневник Достоевского — подтверждают это...

Может быть, потому-то так и обаятельна эта «извращенность» в изображении Достоевского! И когда мы созерцаем Версикова, или когда сверхчеловеческая красота Ставрогина предстает пред нами, — нам приятна и таинственно прекрасна сама так называемая «паталогич-

ность», принимающая оттенки непонятого очарования. И мы любуемся, и как будто забываем, что всею душою отдаемся поклонению всеми презираемой «извращенности!»

Человек, страдавший эпилепсией и устами Кириллова изобразивший все блаженство болезненного экстаза, когда на минуту душа становится приобщенной чуду, не мог не преклониться перед тем, что люди называют ненормальностью и болезнью и создал из этого свое царство, к счастью — навеки закрытое для тех, которые считают Достоевского больным и ненормальным!

Женщина — яд. Рогожин вкусил этого яду, и бешенство овладело им, и весь мир полетел в бездну, и кроме Настасьи Филипповны не было для него никаких основ жизни. Но яд губителен, смертелен — и создало Рогожину его бешенство тысячу бессонных ночей, и барахталась, надрывалась опьяневшая душа, и мучили призраки, и звериная стихия ревела, задыхалась, барахталась, подымая целый океан, и волны его наваливались на грудь и душили ее каким-то озлобленным иступлением!.. Здесь оканчивается чувство человеческое и начинается какая-то литургия любви, какое-то сладко-блаженное жертвоприношение, какая-то звериная первобытность с чисто современным по сложности мистицизмом.

Инфернальность Грушеньки создает целую мистерию! И когда тяжелые кошмарные тени женщины появляются в этой серости, среди низеньких комнат, полных самого разнообразного сброда, среди изнеженного тленья преданных высшей инквизиции душ, — то любовь никогда не выступает открыто, в словах, в поцелуях, при аккомпанементе сирени или лунной ночи, как у Тургенева. Достоевский прячет любовь, угрюмо закутывает в черные пелены тяжести своей непомерной и говорит о ней сухо, сдержанно, как бы боясь показать, боясь открыть... У него герой никогда не признается в любви как человек любящий, у него любовные признания протоколируются в сухой и сжатой форме и словно умирают на устах... Потому что то, что прячет Достоевский, — ужасно... Потому что под видом любви таится здесь ужас эпилепсии, истерическая кошмарность, болезненная утонченность визионерства, уродливые, загадочные переживания и целый мир таких откровений, которые понятны одному Бодлеру или Эдгару По! Потому что элементарное, здоровое, человеческое понятие любви глубоко чуждо и противно Достоевскому, и он избегает говорить пошлыми фразами о том, что надрывает душу, что ужасным бредом разрушает сознание! Посмотрите на жизнь Версилова. О ней какой-нибудь медик или человек, любящий строгие определения, — выразились бы, как о ярко выраженной *psychopatia sexualis*³! И когда понятие вылилось бы в формулу — слов бы больше не нашлось.

А между тем сколько таинственной красоты в этом человеке — таком *нашем*, таком понятном и сверхнормальном. Все, что видим мы в упоительных ночных визиях Дориана Грея⁴, или в половых надрывах Гюисманса или Пшибышевского⁵, — все цветом радужным переливается в образе Версилова и таинственно роднит его половой мистицизм с нашей душой! Половой мистицизм — это именно то, что отличает героев Достоевского от других, это именно то, что поражает нас той бессознательной, очарованной утонченностью, которая представляется нам, когда наблюдаешь за Версильовым из каморки подростка Долгорукова.

— *Единственный красочный элемент, сохранившейся в современной жизни, это порок!* — говорит утонченный эстет лорд Генри Дориану Грею. Эти слова кажутся как бы исходящими из уст Николая Ставрогина. Он пережил это, это же составляет вторую природу, вторую жизнь и самого Достоевского. Ибо он сильно любил говорить о разных пороках, говорить с восхищением, а это значит, что они были ему приятны, были полны той неизведанной красоты и упоения, которые сделали преступником в глазах буржуазного общества Оскара Уайльда!

Достоевский — весь — преступление, весь — утонченный порок. В душе его — темные чащи — запутанные, непроходимые, и не знаешь, где что начинается и где исчезает. В его душе живет злая и жестокая идея женщины, — и эта идея бросает на его творчество тяжелую и кошмарную тень. По Достоевскому женщина — это мистическое озарение порока и преступления. Вот откуда эти холодные отсветы тревоги, окружающие Настасью Филипповну, вот откуда этот истерический смех Лизы в «Бесах», и та непонятная мука рефлексов, которую бросает в разверстые души Аглая.

Еще, в каморке, на мансарде, когда мучил Белинский и сладко давили мозг петербургские утра, из глубокой горячки болезни, из кровью облитых ран сердца родился этот страшный и умерщвляющий женский Лик. Было это тогда, когда надрывались силы в борьбе и струны души были туго натянуты, и болезненное опьянение безумия терзало изможденное тело. Тогда прикоснулась к самым затаенным струнам, вся — яд, вся — жестокая прелесть. Кошмарным жаром разлилась в теле, и рванула сердце, и нервы зажгла... Может быть, ему казалось, что мир погибает, может быть, вся вселенная претворилась в боль! Она холодна. Она ужалила и холодом — громом сквозь сердце прошла, и выпила кровь мучительно сладко, как в сказке пьет душу чудесный аккорд! И «следок ноги у нее узенький и длинный — мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза — настоящие кошачьи, но как она гордо и высоко-

мерно умеет ими смотреть!» («Игрок»). И тогда захотелось броситься вниз с высокой горы и разбиться.

И по ночам, когда залезали в голову безумные замыслы, — познал силу и красоту преступления. Потому что женщина зажгла такие силы и на такие вершины вознесла безумие, что остается только преступить *все* и в багровом зареве умереть, уснуть. И не есть ли это самое чувство, когда смотришь на мучительный следок ноги, когда слышишь шум ее платья, не есть ли *это* — уже само преступление, самая красота его? Потому что кто знает, что делается тогда в душе, какие помыслы один другого страшнее, — рождаются в ней? Может быть, в дьявольском шабаше извивается там весь мир? Может быть, в диком, страдальческом вопле совершается расцвет тех чудес, которые снились Дориану после мучительных искушений дьявола? И какую картину рождает уже этот ранний роман «Игрок»! Сквозь шаблонное описание жизни юноши, влюбленного в рулетку, — всюду пробиваются страшные маски тех ночных кошмаров, когда безумие рождало красоту порока. Здесь, как и всюду, он находит исступленную, садическую радость в тех мучениях, которые доставляет женщина. Здесь начало той целой мистерии, целой поэмы, целой метафизики жестокого опьянения, которое впоследствии сделает Ставрогина в глазах Верховенского тем чудом, которое в силах покорить и победить Россию!

Достоевский никогда не описывает объятий, поцелуев, любовных сцен, как это бывает в романах. И опять не потому ли, что мысль *боялась* описывать, не могла, не смела, в силу цензурных и других условий? Не потому ли, что в уме рождались такие поцелуи, такие сны и видения, которые обессиливали творческую энергию и которые нужно было прятать в душе из боязни публично сознаться в своей преступности. Не потому ли, что вместо поцелуев и объятий здоровых людей душу изводил ужас такого порока, от которого лицо Ставрогина превратилось в бледную маску?! Нет, не поцелуя желала душа, извиваясь в кромешных тьмах исступленья, не поцелуя, а чего-то такого внемирового, страшного и палящего, что смогло бы разорвать женщину в клочья белых, нежных, истомленных роз... И чтобы сама смерть глянула на дно этого сверхмирового поцелуя, поцелуя-тоски, поцелуя-надрыва! И не любви желала душа, а того цветка абсолютного покоя, что, зажегшись чудесным, коварным смехом безумия, засел в этих кошачьих, зеленых глазах и для добытия которого понадобилось бы разбить эти глаза вдребезги и из сознания мира вычеркнуть понятие «женщина». И оттого, что нельзя было добыть этого цветка никакой ценой, вся жизнь превратилась в муку!..

II

Неспешный ужас сладострастья
 Как смертный холод лезвея,
 Вбирает жадно жизнь моя.
 Неспешный ужас сладострастья
 Растет, как бури шум — и я
 Благословляю стоном счастья
 Неспешный ужас сладострастья,
 Как смертный холод лезвея.

Валерий Брюсов

А я всегда, неизменно
 Молюсь неземной красоте.
 Я чужд тревогам вселенной,
 Отдавшись холодной мечте.
 Отдавшись мечте, — неизменно
 Я молюсь неземной красоте.

Валерий Брюсов

Из этих странных, уродливых, страстных людей мятущаяся душа Настасьи Филипповны создала себе заколдованный круг. И в нем свершается волшебство необычное, переполненное жаждой зажечь такой пожар, создать такую месть, чтобы в сердце умерла мука... И оттого, что эта жажда перешла границы человеческого, — люди стали игрушками, а ее красота — инквизицией. И когда в зеркалах тусклых домов Ганечки или Рогожина появляется истерзанный ее, бледный Лик — туманность кошмарного пресыщенья пламенеет заревом безумия и жутко наблюдать, как надрываются силы в борьбе с ее властью, как человеческая природа в экстазах испускает дух.

И эти души — все эти безвольные, зачарованные души, — только игрушки в ее руках. Ибо она всесильна — и эту силу дало ей то, что раздвигает горизонты мира, что разрушает и созидает мир — красота... И мучит всех — и старика Епанчина — солидного генерала, отца семейства, и озлобленного Ганечку, и одержимого Рогожина, и холодную Аглаю и даже болезненного аскета, истомленного и надломленного болезнью — князя Мышкина! И вот — все горит, извивается в корчах, рассыпается воплями и молитвами у ее ног! Но что ей поклонение и терзание, что эта любовь, — силы ее надрывает трагедия, трагедия, о которой все молчат, но которая открывает безмолвные недра в чащах того, что люди зовут полом и что здесь таким мучительным объятьем сплетено с душой. Не хочет Достоевский показать красоту людям спокойной и величественной, с ореолом холода на челе, свою

красоту он истерзал страданием и оттого самая боль, самая острота красоты зажглась мистическим пламенем наслажденья! И оттого, что старый помещик осквернил Настасью Филипповну блудливыми ласками потуханья, оттого, что эти ласки и вся эта история бросили ее на рынок петербургского света, — красота стала особенно заманчивой и inferнальной. Почему это так, — Достоевский не может объяснить, да и вряд ли это может поддаться объяснению. Но ясен факт, что «порядочная» женщина никогда не бывает у него олицетворением красоты и что для этого ему необходимо всегда женщину сделать проституткой...

Порочная жизнь, так сказать, отшлифовала красоту Настасьи Филипповны, и от этого она стала еще больше обаятельною, еще больше заманчивою. Здесь любовь Достоевского к порочности и преступности выступает наглядно.

Когда прислушаешься и приглядишься ко всей этой истории, к этому всеобщему поклонению столь разных меж собой людей, — невольно зарождается мысль, что Настасья Филипповна не человек только, а символическое изображение творчества красоты!

В общем экстазе Ганечка творит себе идеал жены, Рогожин — любовницы, Аглая — абстрактную идею, кн. Мышкин — чудотворную икону. Но сама-то она может быть выше всего этого, самое-то ее понимает, быть может, один только Достоевский, влюбленный в нее не меньше Рогожина. И в ней самой ярко выступает мучительная трещина двойственности, и ярко зажженные свечи этой двойственности освещают немного ту темь, которая в ней и которая опьяняет своей густотой сознание. Рогожин творит из нее оргиазм плоти, делает ее пьяной вакханкой своего расстроенного воображения, и не потому только, что у него к ней «больная страсть», как выразился Мышкин, но и потому, что в ней самой этот оргиастический элемент составляет часть души и, может быть, даже преобладает над всею душой. И когда, в тот памятный вечер, она бросила в камин пачку денег, и в вихре пьяного восторга рявкнул Рогожин свое знаменитое: «Королева!», когда всякий сброд застыл, ошеломленный мучительной напряженностью ее смеха, а Ганечка упал в обморок, — тогда этот элемент оргиастического исступленья выступил наружу. Здесь же идея пола получает новое освещение, чисто русское и знает о ней один лишь Парфен Рогожин!

Глубокая власть надрыва, бешеный разгул, вакхическая радость распинания души во имя ее, «королевы» — и лихорадочная дрожь, и дикое рычанье голодного зверя от одной ее улыбки, и желание поставить ее выше мира и ею разбить мир, вот что пробуждает тогда пол в Рогожине, вот как понимает красоту Достоевский!

Вознесенная на вершины страсть дальше не может идти, она или должна потухнуть, или окончиться преступлением. И были моменты в жизни Настасьи Филипповны, когда страсть уходила, тогда пробуждалось что-то новое, более тонкое, более усложненное и таинственное, то, что тянет ее к князю Мышкину. «Первый раз человека видела», — говорит она ему, уносясь с Рогожиным, после того, как Мышкин предлагает ей выйти за него замуж. *Человека*, а не мужчину, душу, а не самца, словом не то, что она привыкла видеть в людях. Эти слова говорят очень многое, они объясняют отношение Мышкина к Настасье Филипповне и обратно, то есть другое отношение Достоевского к красоте и другое ее понимание! Здесь грубые половые эксцессы заменяются просветленностью, вулканическая страсть облагораживается, переходит в душу, в душу того, у кого болезнь доминирует над всем, для кого плоть не чувствительна, для кого ее заменяет душа, — князя Мышкина.

Душа кристально чистая и почти святая, душа, озаренная лучами какого-то горнего света, душа, надорванная эпилепсией и изнурительной болезнью, словно тающая, словно всецело отдавшаяся свету, — князь Мышкин представляет интересное явление, бросающее некоторые лучи света на темную натуру Достоевского. В этом человеке он проявил свою вторую натуру, в нем вылилась *душа его болезни*, нечто неподдающееся истолкованию, то, что он переживал в минуты глубокой усталости, когда душа в припадке отделялась от тела, и становилось радостно, и казалось, что входит в душу и тает в неопisanном наслаждении вся мировая боль! В Мышкине — те полутени и полусветы, что мелькают в мозгу в то время, когда познаешь болезнь, и оттого, что познаешь, она становится желанной, и невольно хочешь, чтобы она длилась долго, когда бред окутывает усталостью блаженства израненную душу, и вот, среди царства теней, среди ужаса боли нарастают и тают, и возникают опять какие-то смутные призраки, какие-то сны и видения, которые желал бы понять, но не можешь, и оттого, что не можешь, как-то особенно легко и радостно, а мозг тихо пьют длительные, обессиливающие поцелуи экстаза. В Мышкине красота особенная, красота усталости и умирания, в которой так много лучистой, тихой просветленности.

И всех он любит одинаково, и ко всем тянется, как лилейный, покорный цветок, и женщины не знала его чистая душа, и к Аглае, и к Настасье Филипповне у него отношение одинаковое, смутное, неопределенное, больное.

Но Настасья Филипповна далеко не так относится к нему. Сердце, пресыщенное болью, тянется к нему безвольно, чувствует какое-то обаяние, но не может схватить его сущность. Она преклоняется

пред ним, она на него молится, и в этой любви есть что-то особенное, опрозраченное, не без примеси тонкой извращенности. Она хотела бы слиться с ним, взять его в свою душу, как то, чего недостает ей и чего она не понимает, она хотела бы любить его, но чтобы эта любовь была не такой, какой она бывает, чтобы она перешла в душу, чтобы *плоть стала душой* и чтобы это было выше любви! Но такая любовь выше ее сил, и вот она бросает Мышкина и снова возвращается к спаленному страстью Рогожину, в жертву плоти приносит душу, в то время, как по отношению к Мышкину плоть была одухотворена душою...

<...>

Жизнь Ставрогина — это вечное скитание по распутьям, это вечная борьба с самим собой, это тяжелая и ненужная для него ноша! В то время, как Шатов, воспользовавшись теорией Ставрогина, находит Бога и весь зажигается, Николай Всеволодович брезгливо морщится, даже улыбки не может найти в себе... Ибо он говорил Шатову не о Боге, а о трагедии искания Бога, о той трагедии, которая, может, коснулась когда-то и его самого, он говорил ему замечательные слова, слова вечные и незабвенные о том, «что разум и наука в жизни народов всегда, теперь и сначала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную: так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силою иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. *Эта сила есть сила неутомимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая*» («Бесы»).

Доморощенный анархизм Верховенских и компании тоже исходит от Ставрогина, но на них то последний смотрит как на стаю жалких собак. Он один знает об этом нечто такое, о чем и не мерещилось Верховенским, он знает, что все это попытки слабые и ничтожные, ибо нет в человеке той силы, которая бы смогла смести с лица земли то, что мешает жить! Что если бы явилась такая сила хоть единый раз, если бы человек смог хоть на минуту богом стать, то свершилось бы все, кончилось бы все и времени больше не существовало! Кириллову вздумалось овладеть этой силой, он верит в свою миссию верою ребенка, он торжественно уверяет, что он победил страх жизни силою человекобога, что он самый первый, что он вдруг захочет и времени больше не будет, и смерти больше не будет, он спасет всю вселенную, проявив нечеловеческую волю, и все это свершится в ту минуту, когда он убьет себя... Кириллов в эту идею, идею самую гениальную и вместе самую сумасбродную из всех идей — вложил всю свою душу и жизнь, он ею живет, это его одежда и пища и религия, больше ему ничего не надо! И ему хорошо! Нет слов, чтобы выразить его восторг! Но каково-то Ставрогину, созерцающему эту картину! Ему и завидно,

и грустно, но больше смешно! Ему смешно, что этот человек стал верующим до ребячества только вследствие того курьезного случая, что ему удалось превратить в идею, в догмат гениальный ставрогинский парадокс, что то, что было для Ставрогина лишь изящной игрушкой умственной утонченности, здесь по какой-то неизвестной силе превратилась в целое мировоззрение, в целый религиозный догмат, и этот человек не только уверовал в него, не только принял, но своею собственною добровольною смертью готов доказать свою веру! Смешно, и вместе с тем любопытно. Холодный, изящный, усталый, не изменяя масочного выраженья лица, Ставрогин спрашивает:

— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?

— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.

— Вы надеетесь дойти до такой минуты?

— Да.

— Это вряд ли в наше время возможно, — тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. — В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.

— Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.

— Куда ж его спрячут?

— Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.

— Старые философские места, одни и те же с начала веков, — с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин («Бесы»).

Эта последняя фраза замечательно характерна для Ставрогина... В том, что находил в исканиях и то, что люди с видом мудрецов преподносили как откровения, — все это уж старо и для давнопрошедших веков было тем же, что и для нас, а главное, — ненадежно и для него — увы! — даже при всем его желании — недоступно... Кто знает, быть может, и в те времена, когда Шатов из Америки писал ему душевраздирающие письма, и тогда, когда все они как стая голодных волков кружились за границей около интернационалки, — Ставрогин не раз покушался на какой-нибудь подвиг, всею душой хотел чего-то, что могло бы хоть оправдать его жизнь, но не хватало уверенности, что за всем этим не таится какой-либо новый обман, какая-либо новая ловушка, какое-нибудь новое слово на вечно старом месте, — пошрое, избитое, как вся эта жизнь! Как хитрый искуситель искушал он других великими замыслами и разбрасывал их небрежными мановениями, как не имеющее уже для него цены золото, и когда эта жадная свора набрасывалась на это и пожирала и насыщалась этим навсегда и больше уж ей ничего не нужно было, — в нем презрение к их сытости сменя-

лось отвращением, и он нарочно отрекался от своих собственных слов, словно из чувства гадливости, что он являлся участником чего-то мелкого и ничтожного! «“Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить, вот что давит меня теперь!” — говорит ему Шатов... — “Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас», — загадочно произнес Ставрогин...»

Все же, хоть и несчастен в глубине этот человек, но ему ведома одна мысль, о которой все они не только не имеют понятия, но пришли бы в ужас, если бы она стала им ведома. Эту мысль Ставрогин носит в себе как глубоко засевшую в душе заразу, и если что убьет его, то именно она — эта мысль, мысль о том, что не только все великие замыслы, но все попытки к спасению близятся к концу, что ничего нет, кроме пустоты, что сильнее и выше всякой глубины великая, безмерная усталость!

Вся загадочность его заключается именно в том, что до этой мысли, до мысли полного отрицания всего, никто не додумывался, а он один ее хранил в себе как тайну, более того, — он весь ушел в нее, он закутался в ее черное покрывало, но от людей хранил как святыню, ибо знал, что для подобных истин не пришел еще час! Но ничто так не покоряет людей, как это загадочное молчание, эта запечатанная, но все же чувствующаяся тайна!.. Чем сложнее человек, тем больше и многоречивое окружающее его молчание, тем сильнее власть его над людьми! И кто больше всех сможет посмеяться над всею их мудростью, того они и вознесут, и кто окажет им побольше презрения, тот их больше всего заинтересует. А Ставрогин хоть и среди них находится, но, в сущности, — он отделен от них невидимой для их глаз чертой — и никогда, никому не позволит он приблизиться за черту, ибо он слишком *дальний* для них! Пусть люди мучаются, — думает этот повелитель сердец, — пусть изводят себя и других какою угодно ложью, я буду стоять над ними и улыбаться, пусть себе кружатся! Мировую скорбь они возлюбили, отдают себя в жертву, просиживают ночи над помертвевшей пылью веков — и пусть, а я могу лишь удержаться, чтобы не зевнуть им в лицо, а они уверены, что я с ними. Вот волнуется, извивается, копошится человеческая масса, и это похоже на беготню отвратительных и вонючих крыс, вот взвешивают судьбы мира, вот выдумывают богов и разрушают их, но одна минута моей безмерной усталости стирает все это в прах! Карабкаются на высочайшие горы, сдирают шкуру с ближнего и посылают проклятья дальнему, но я уже не могу как прежде смеяться над ними, мой смех тонет в мрачном предчувствии того последнего часа, к которому на невидимых крыльях летит весь мир, я вижу, как тонут в пучине страшной тьмы

все человеческие создания, все, что от жизни, все, что имеет смысл, я вижу, как над скелетом вселенной грохочет громовыми раскатами хохот изначальной и холодной вечности!

Не жизнь это, а словно идет человек и тащит за собой свой разложившийся труп! Светлые глаза у него и ясные, но кто взглянет в них поближе, — тот увидит в них ужасную, смеющуюся над всем миром пустоту! Лиза, та, что подошла и взглянула, — не обмерла, не ужаснулась, она подарила его лишь одним уничтожающим, невыносимым для него презрением! Лиза ждала увидеть в любовном опьянении сверхчеловека, какого-то демона, который бы раздвинул завесу мерзкой, тошной жизни, но вместо этого пред ней предстал весь трагикомизм гальванизированного трупа, который в своей усталости дошел до того, что не может ничем ответить на чувства отдающейся ему женщины, кроме все той же брезгливой улыбки сожаления! И Лиза — богато одаренная, утонченная натура, не смогла понять Ставрогина, ибо слишком он дальний даже для своей любви! Истерическая барышня хотела озадачить его смелой выходкой, прямо с бала явилась к нему ночью, думала, что этим покорит, удивит! О, ирония, — было же чем и кого удивлять! Кажется, — уже не осталось на земле для него ничего больше, что могло бы его удивить!

Недаром же говорит ему плененный им Шатов: *«О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой!»*. И Шатов прав, ставрогинская жизнь представляла богатое по содержанию зрелище. Он побывал всюду и везде, и в темных закоулках, и на высочайших горах, он исколесил все дороги, заглянул во все знания, и всюду и всегда не скользил по поверхности, а бросался вниз головой в самую отчаянную глубину всех вещей. Что может быть опаснее этого? Во многих случаях человек едва живым выйдет, а вся беда Ставрогина, что он вышел из этих глубин и остался живым! Всякая глубина ведет за собой яд всеотрицания, но ясно, что это хорошо лишь на одну минуту, ради эстетических эмоций, и плохо придется тому, кто посмеет вынести на плечах это бремя! Поистине участь величайших мучеников вплоть до Христа — ничто в сравнении с этим состоянием! Недаром же у Ставрогина как-то вырвались по этому поводу весьма любопытные слова, за которые тотчас же ухватился Шатов как за основной рычаг: *«Не вы ли! — кричит Шатов ему, — говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?»* («Бесы»). Для Шатова эти ставрогинские слова послужили вторым рождением, но если бы он знал, какую иронию, какую боль иронии вложил в них его учитель! Шатов и шатовцы ухватились за Христа с остервенением, ибо он нужен им для мирозерцания, для диссертаций на тему о трех

ипостасях, для какой-нибудь претолстой и водянистой книги, вроде «Оправдания добра», он, наконец, нужен им как удобные ширмочки для самого настоящего безверия (ведь Шатов на вопрос Ставрогина «веруете ли вы в Бога», — не ответил утвердительно, ибо побоялся солгать, а у современных шатовцев больше позы, чем настоящей религиозности, — факты, которые едва ли кто будет оспаривать)...

Для Ставрогина же Христос не мог быть ничем иным, как только синонимом полнейшего бессилия, полнейшего отчаянья, ибо хорошо он понимал великую истину, что Христос — есть освящение бессилия, таинство безутешного отчаянья, по крайней мере — для него самого! Но главное, что подтверждает это — то, что Ставрогин не остался со Христом, но не принял также и ни одной из истин! Не остался со Христом потому, что не хотел обмана, не уверовал в истину, потому что главнейшая истина, которую удалось ему открыть, — была ложь! И, кроме того, Христос-то, в конце концов, хорош в минуту глубокого отчаянья, или, по крайней мере, — за час до смерти, а Ставрогин был молод, был красив и без женщины прожить не мог, а порочная, утонченно-порочная его натура манила его в такие дебри, перед которыми целомудренный Шатов (ведь от его целомудрия и жена-то сбежала к Ставрoгину) только ужаснулся бы с негодованием! карамазовский паук в нем разостлал целую паутину самых порочнейших, самых диких, самых преступных мыслей, которые он не колебался приводить в исполнение. Ему было все равно, что делать и как делать, лишь бы все это только заставило его хоть раз в жизни сладострастно содрогнуться и этим хоть на минуту доставить себе полное забвенье... Он тоже знает, что в самых диких противоположностях, в самых убийственных порочных инстинктах, в самых запрещенных плодах мира сего кроется некая острая сила наслаждения, а ему именно и хотелось, чтобы наслаждение было острое до боли, всякие, самые прекрасные нормальные наслаждения уже не доставляли ему никакого удовлетворения! Недаром же Верховенский готовил для него роль нового Стеньки Разина по необыкновенной способности его (Ставрогина) к преступлению!.. Недаром же Шатов так его упрекает: «Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастной, зверскою шуткою и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?.. А правда ли, — продолжает вспоминать Шатов ставрогинское прошлое, — правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей! Говорите, не смейте лгать!

— Я эти слова говорил, но детей не я обижал, — произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания»...

Это карамазовское богатство ощущений соблазняло очень принца Гарри. В этом он не только хотел забыться, ему это нравилось именно своею опасностью, своею противоположностью всякому нормальному человеческому чувству, может быть, в этом многообразном мире так называемых противоестественных страстей ему открывалась возможность хоть раз в жизни ощутить настоящий потрясающий страх, смешанный с каким-то нечеловеческим наслаждением, хоть раз в жизни не только на словах, но в чувстве испытать свою способность к преступлению, ибо только такие переживания могли дать ему почувствовать, что он еще живет, а не умер! Там, где царит пресыщенность всем, что есть в жизни, — там подобные пути являются чем-то вполне естественным, спасительным даже! Ибо что такое пресыщение, как не переход к наслаждениям, полярно противоположным всему, что у людей принято и освящено обычаем? Может быть, тем, которые ищут какой-то еще неведомой страны любви, нужно извратить всякое нормальное человеческое чувство и не потому, что нормальное претит своим убожеством, а потому, чтобы испытать наипорочнейшее чувство — чувство, которое может вызвать бешенство сладострастия, а ведь сладострастие для Ставрогина иногда является единственной заманкою к жизни! Пусть такие поступки Ставрогина кажутся для всех и постыдными и подлежащими общественному осуждению, и грубо животными, но сам-то он хранит и в этих своих переживаниях глубочайшую тайну, которую он не откроет никому. Шатов и подобные ему могут только возмутиться, но какой-нибудь Нерон или Цезарь Борджия, или Екатерина Медичи⁶ поняли бы Ставрогина и без его признаний.

Однажды ему вздумалось жениться на уроде, на какой-то идиотической хромоножке. И он женился. И только безмолвное молчание Ставрогина послужило ответом на страстные упреки Шатова по этому поводу: «Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызению совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв... *Вызов нравственному смыслу был уж слишком прельстителен!* Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали?»... То же самое чувство испытывал Ставрогин, когда говорил каторжнику Федьке: «режь еще, обокради еще!» и с бешеным хохотом бросал ему в лицо бумажки ассигнаций...

Но как бы ни многообразно было все это, но и от этого мерзит... Ибо как бы ни ярка была жизнь, конец всему же близок, конец ближе, чем смерть! И это ужасает, это заставляет Ставрогина с ожесточени-

ем бросаться из стороны в сторону, пока наконец овладела им кошмарная спячка в Швейцарии, в кантоне Ури, в угрюмом и холодном одиночестве.

Здесь понадобилась тихая и кроткая Даша в качестве сиделки... Ставрогин знал, что ему понадобится когда-нибудь сиделка, для этой роли Даша была ему и нужна... «Когда позовете — приду!», — она как собачка... И оттого, что она так откровенна в своей собачьей преданности, — Ставровину как-то особенно мерзко... А другая — Лиза — та слишком гордая, чтобы унизиться, но и она преследовала его всюду, пока не убедилась, что он и от любви далек! А какая у нее была на его счет мечта! Она тоже его еще с Лозанны «выдумала», как и Шатов, как и Верховенский, она верила, что этот человек есть необыкновенный человек (хотя, в чем его необыкновенность — вряд ли ясно сознавала, а когда в ту ночь пришла, то потребовала именно самого обыкновенного)... Вся Лиза — точно предсмертный его призрак, призрак того, что погибло и уже не вернется никогда. Может быть, в первый раз ему захотелось искренно полюбить, не играя, но для любви уже не хватило сил... И в туманный час того рокового утра, после бала, когда они расстались, Ставрогин понял, что от него ушла последняя женщина! Эту-то уж хотелось ему самому заморозить, но она оказалась слишком разочарованной.

Но ни Лиза, ни кто-либо другой не знали трагедии Ставрогина, не могли узнать! Не было тогда еще для нее слов. <...>

VII

В тайном ужасе есть сладкое томленье,
Чего-то нового призыв и откровенье.

А. Майков

Карамазовское царство — жестокое царство... Здесь красота изображена надрывом, и в надрыве тонет любовь, и любовь — как яд губительный, как та «страшная сказка» Гейне⁷, в которой жестокость и счастье — одно!.. Они все здесь — уже пропащие, ибо кто уверует в безумие, кто душу запродаст демону сладострастья, кто полетит в бездну вверх ногами, — тому спасенья уж нет и не будет!.. Здесь хоть и все — любовь, но все — трагично! Это у обыденных людей любовь — радость, у этих же есть другая радость, радость распятья на кресте страсти, радость гибели... Они все гибнут. Не могут спастись. Для кого женщина стала богом, — тот уже забыл, что такое спасенье!.. Ибо если религия, — то, — для того, чтобы все спокойно было и передохнуть можно было, — лик божества должен быть на недоступной

высоте, где-то очень вверху, и чтобы даже неведомы были черты! Если же увидишь лицо идола в живом человеке, если поймешь, что в нем — и тайна, и ужас, и бред, — тогда где же взять силы, чтобы вынести муку, чтобы сберечь огонь?.. Здесь — почти каждая женщина — запечатанный сосуд тайны, и в ней здешние черты будто все же нездешние, и в ней лицо изменчиво до сладостного, до томительного обмана!... Катерина Николаевна в «Подростке» уклончива, зыбкая, смехом колдует... И отца, и сына, и многих — мастерски мучит, чадом загадочной сущности опьяняет, терзает... и в ней — «все пороки»!

Полина в «Игроке» до того кружит и жалит, что руки кусаешь, услышав шорох платья, а «когда она раз в зале с Де-Грие разговаривала долго и горячо и так на него смотрела, то потом, когда я к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину, только что дала, стоит перед ним и на него смотрит... *Вот с этого-то вечера я ее и полюбил*»... Даже Лиза Хохлакова — девочка, и та поверх тайны врожденной, неведомой — истерикой колдует, кровь любит, уколы любит... Царевна-колдунья, она ворожит над жестокостью и мукой души своей ее освящает... пытки миру готовит... Рождает злые замыслы, злые соблазны... Ведь это от нее родился солугубовский «Нюрнбергский палач» и многое другое!.. Она такая молоденькая, лет пятнадцати кажется, не больше, и такая уже хищная, и такая усталая от душераздирающей инквизиторской грезы своей!.. В книге где-то вычитала, что будто мальчика распяли, прибили гвоздями и распяли, — и ей хорошо!.. Алеша с недоумением (наверное, с недоумением) глядит на ее бледно-желтое искаженное лицо и не верит, и спрашивает: «Хорошо»?..

— «Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю компот. Вы любите?» («Братья Карамазовы»)...

И на личике — тусклое озарение... Это карамазовская сила разрушения сказалась. Сам Достоевский, тот самый, про которого пишут, что он — христианин и христианин примерный (есть такие, что пишут) — сидит в этом уродливом тельце, мелким бесом сидит и сотрясает, и ей хочется крикнуть, хочется забыться, но соблазны все острее, заманчивее, но желания все разрушительнее!..

— «Я ужасно хочу зажечь дом, Алеша, — наш дом, вы мне все не верите?.. я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.

— Зачем делать злое?

— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось. Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами,

а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так, приятно, Алеша? («Братья Карамаз<овы>»).

Истомила себя надрывами, закружилась в томительной пляске плоти... «И эта — уже предлагается»...

Какие соблазны здесь идут от женщин! Дух перевести нельзя!.. Уводят в такие дали, толкают на такие преступления, манят такими обещаньями, что все только кружится, все багровеет, пламенем страсти хлещет в глаза... И каждый дрожит, уходит в себя, и каждый создает свою «страшную сказку», чтобы в ее бреде исчезала действительность, чтобы в ее волхвованиях рыдали пропасти нездешних миров, чтобы сквозь тусклую скуку, скуку безумную — вдруг сверкнули серебристые вершины восторга! Версолов — философ (это ведь он сказал, лет за 30 до Льва Шестова: «Жить с идеями скучно, а без идей всегда весело»). Хотя философия-то его барская, усталая, от лени больше, от пустоты снедающей философствует, а все-же он — игрушка в щупальцах карамазовского насекомого, он из ревности может сбросить с себя всю свою барскую корректную напыщенность и становится вдруг свирепым зверем, не хуже Митеньки, икону — символ всего духовного, благоустроющего, ради чего вериги носил, — разбивает, ничуть не задумываясь — и, схватив на руки женщину, вымотавшую всю его душу, — носит ее по комнате как помешанный, как разъяренный лев, наслаждающийся победой своей... Убить ее хочет, но убить мало, разве есть на свете такая смерть, которая смогла бы убить ревность? Кровь по капле высосать хочет, за жизнь, укушенную проклятым насекомым, отмстить хочет, но разве возможно убить любовь, которая сильнее смерти? Кто дошел в любви до отчаянья, до последней обнаженности, тому лечиться остается разве одним лишь сумасшествием, да и это вряд ли поможет. Овладеть душой другого — это значит уничтожить его, но уничтожить Катерину Николаевну нелегко было, она сама его уничтожила!.. И погиб... И все карамазовские гибнут... Мочи нет, *слишком любят...*

Именно от этой-то «женской живодерности», о которой говорит Митя, — и гибнут! Ибо «такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно!» («Бр<атя> Кар<амазовы>»)...

И чем больше жестокости в женщине, тем больше ее и любишь — старая истина... Но этою истиной здесь все упиваются, ею живут, летят ею от томительной скуки пресыщенья!.. А это главное! Ибо кто скуку чем-нибудь убить может, — тот значит и силен!.. Все задыхаются, нечем спастись, нечем заполнить пустоту, и никто ни о чем не думает, только о спасеньи, и все равно для них — какой ценой, лишь бы забыться!

Особенно герой «Игрока» в этом отношении изобретателен. И, когда слушаешь его признания, — лишний раз убеждаешься, как далеко шагнул для своего времени Достоевский: писано в 1867 году, а читая, думаешь, что писал какой-нибудь Габриэль д'Аннунцио⁸.

«— Ну, да, да, мне от вас рабство — наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества, — продолжал я бредить. — Чёрт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо... Удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть — хоть над мухой — ведь это тоже своего рода наслаждение».

— «Человек деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите».

«Глаза мои налились кровью. На окраинах губ запеклась пена. А что касается Шлагенберга, то клянусь честью, даже и теперь: если б она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала, — я бы и тогда соскочил! («Игрок»).

Карамазовское царство — паучье царство... Безобразное, липкое в паутине сладострастья насекомое повисло над миром души и царит... И человек — сам словно насекомое, иногда — даже раздавленное, но из глубины раздавленной посылающее гимн проклятья и восторга!.. И во всем этом — ужас! Тот тихий, бессловесный ужас, что застилает все выходы непроглядною пеленою тупого бесстрастия, тот ужас, что осуждает человека на бессмертное созерцание паучьего царства!.. Недаром же у Свидригайлова даже сама вечность представляется в виде бани с пауками!.. От насекомого, видно, никуда не уйдешь, никакая религия, ни логистика, ни философия не могут избавить человека от его власти! У Карамазовых, видно, — сладострастие вечно!.. Даже за гробом нельзя представить Федора Павловича без женщины, для него, так же как и для Розанова, смерти не существует, смерть для них, пожалуй, может тоже Лизаветой Смердящею стать, до того они влюблены в жизнь! Федор Павлович в этом отношении — самое крупное насекомое, самое жирное... До неприличия полюбил он женщину, что-то поистине *страшное* есть в этой припадочной, юродивой любви, и кажется, что этот паук — самое сильное из всех созданий... В самом деле, можно любить жизнь, но в меру, нужно же, в самом деле, и о смерти подумать! Федор Павлович предоставляет все философские рассуждения Смердякову, как бы в насмешку, как бы желая этим сказать, что это «передовое мясо» все может бесстрашно и безболезненно переварить, всякие, внушающие тревогу вопросы, а он-то сам будет только посмеиваться, похихикивать, подзадоривать! А дела-то у него до этого мало, несмотря на то, что глупым его нельзя назвать! Он до-

жил до старости и ни разу не испытал никаких треволнений, ни разу не ужаснулся перед смертью и перед вечностью, ни разу не подумал о Боге, о смысле жизни, — женщина заслонила все!.. Если даже вечность — продолжение паучьего царства, то чего же тревожиться-то? Сладострастье и смерть — какое странное сопоставление!.. Федору Павловичу кажется, что в женщинах-то и вечность, и все, что оправдывает жизнь. Каждая для него — предмет пожелания, какова бы она ни была, лишь бы только женщина!.. Здесь забота Достоевского о неоскудении жизненных соков достигает наивысшей степени юродства, и странно слышать, как разглагольствует об этом патриарх карамазовщины:

— «Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять?.. По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чёрт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант. Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего... но где вам это понять?» («Братья Карамазовы»).

Любопытно до крайности, что в философской карамазовщине, у ее представителя — Розанова, мы находим точно такие же слова, но только, конечно, — здесь карамазовское насекомое проявляется куда курьезнее, чем у Федора Павловича, хотя для Розанова это очень характерно.

«На веки-то, на наш “вечный брак” — и “за деньги” на многих нельзя жениться: ну, а временно при свободе хоть на завтра развода — конечно, уже не было такого уroda из девушек, которую “познать” решительно отказался бы всякий... Вот уж там и “лен курящийся” не заглаживался, и “трость надломленная” не переламывалась. Заметим, что великая есть доблесть, великое служение Богу (вот где настоящее “монашество” как “жертва Богу”) заключается в женитьбе на тех девушках, вдовах, вообще женских существах, которые “никому не понадобились”, “никому не нравятся”, некрасивеньких, слабеньких, невидненьких: но “тяжких бремен” не надо возлагать, и, конечно можно надеяться на охотную женитьбу на таких лишь при многоженстве, которое да будет благословенно *между прочим и за это*, что при многоженстве возможно брать некрасивых, “космических сирот”, космическое “убожество”, производя от него иногда красивейшие лозы: ибо “убогие” с лица своего, в поле бывают часто гениальны, восприимчивы, страстны, “похотливы”» («Люди лунного света», стр. 16–17).

Все эти люди *надорвали* свою плоть в постоянном горении, для них только пол был жизнью и только в поле — цель... Надрыв же безмерно

углубляет душу, до такого состояния доводит ее, что тут уж и сама инквизиторская пытка не поможет, нужно принять отчаянье как последний источник утешения... А с отчаяньем трудно жить, невозможно жить... И бродишь в туманах дней усталых, дней поседевших от горя, как душа твоя, робко стремишься в подвалы, где серые, мокрые, вонючие лестницы, где гнилое дыхание родного бессилья... Где-нибудь в черненьком трактирчике скрипучий хохот тоски заливается в органной арии, кошмарные, истомленные маски людей как рваные лохмотья, пьяный визг, пьяный плач, слабенький развратик, а к окнам, вспотевшим от людских испарений, — прильнуло и смотрит выпивающим взглядом сумасшедшее, паучье лицо нудной Вечности!... И Версилов, и Свидригайлов сюда стремятся, в эти переулочки, в эти подозрительные трактирчики, словно чуя душой, что здесь-то и сгущается черным безумием тоска их, словно чуя, что в этом-то сгущении, в этом последнем надрыве всей жизни страданье преобразается в облегченность!.. Но слабый крик замирает, но боль все сильнее, но жизнь все бездельнее... Ибо горе тому, кто, полюбив черное страданье свое, отречется от всякого утешения, от всякой Божией милости, от всех путей Божих... В этой жизни, где одно лекарство — Христос, — людям, отказавшимся от лечения, суждено безнадежно и бесполезно погибнуть!... В этой жизни глубину души нужно заливать чем-нибудь, лишь бы забыться, лишь бы перевести дух, и если кто не захочет крест нести и душу истомить страданьем, если понадеется на себя, то разве в конце концов это не покажется преступлением? А в паучьем царстве не видно ни зги, здесь душу запродали плоти и порок сделали содержанием бытия... Здесь бунт учинили и опьянились бунтом, но где же выход, где окно, из которого бы хлынул свежий воздух, ибо все задыхаются, все удушьем собственным опьяняют себя?.. Версилов верил в исход, но до тех пор, пока цепи от женщины были ослаблены; когда же рванула их и позвала, и поманила — рабской стала душа, рабством упиалась, в рабство уверовала, ибо это рабство для него свято!.. А Свидригайлов — тот обезумел от искушений паучьего царства и проклял надежду, как все... Ставрогин же даже из отрицания ничего не мог выжать, кроме скуки... Иван Карамазов уверовал в чёрта... Здесь эта вера как нельзя уместнее... Пол, — женщина, — дьявол, это и колдует здесь, и это же губит навек!

Тихий ужас безумия, сонный лепет тоски, вместо надежды — грустная гирлянда почерневших роз всех пороков... И усталость... И пресыщенье... И страх...

А в последнем отчаяньи, в последнем надрыве — там, где хочется конец увидеть и концом упиться, — безобразная маска Лизаветы Смердящей, как бесстыдно разложившийся труп на пороге вечности.

Угрюмая здесь любовь, любовь истомляющая, любовь — бездна тоски по безумию... Дьявольскими чарами опьяняет любовь человека, но нет надежды спастись... Лиза ждала от Ставрогина чуда, как, может быть, и Свидригайлов — от Дуни... Но и здесь Достоевскому пришлось обезобразить чудо свое, в любимую паучью страшную маску воплотить его... И не во имя того, чтобы застыла тоска, нет, может быть, — во имя спасения... Для тех, которые жаждут истины и ищут ее, — для тех уготовано утешение привычное и неизбежное: — только Христос!.. Для карамазовцев, отрекшихся от добра и от зла во имя наслаждения, — безумие изобрело тоже нечто вроде спасения: — что-то сложное, уходящее в вечность путями муки, что-то измученное, уродливое и бессловесное, о чем грезят безнадежно больные в темную ночь... Любовь?.. Дьявол?.. Голгофа страсти?.. Неизвестно! В том-то и прелесть заключается этого утешения, что оно — неизвестно... У безумия ведь свои пути — алогические, бессловесные, кошмарные, и веруют-то в них одни лишь умершие для жизни, а от них едва ли добьешься толку... Однако, у Ницше, у Эдгара По, у Бодлера, у Врубеля⁹ они были, несомненно были: даже исступленные, даже забывшие землю, даже искалеченные до смертельной усталости, — даже и те (может быть, по инерции извечной, может быть, по традиции?) тоже имеют свою надежду, своего обезображенного, истомленного Христа!.. Такова видно общая судьба!..

Одиночество — удел немногих, да и то сменяется часто сумасшедшим домом, ибо отклика, ласки, великой любви жаждет душа и в одиночестве, ибо нельзя исцелиться самому, так человек устроен, нужно, даже когда ненавидишь весь род человеческий, — ждать исцеления от другого... Для верующих исцеление является во всякую минуту, здесь символ спасает; все, чего нельзя получить от людей и от мира, все, что невозможно, ибо его нет, они воплощают в символ, и этим живут, и дышат, и наслаждаются... Один символ («пустой внутри», — говорит рассудок, — «полный тайны и жизни», — говорит душа) — и жизнь спасена, и голод утолен, и веселая надежда скрашивает жизнь, словно у человека, который положил в банк капитал и этим себя обеспечил! Хитрость (бессознательная или сознательная — не важно), но во всяком случае завидная... В подвалах же и в паучьем царстве не знают, что такое хитрость, им это недоступно... Но нужно не меньше, чем кому бы то ни было. Здесь верят и надеются, что безумием станет вся жизнь, что безумие дает откровенье... Здесь чуда ждут.

«Мне всегда казалось, — говорит Лиза Ставрогину, — что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него смотреть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь» («Бесы»).

Каково чудо? Каково ожидание? Только содрогнутся многие и, пожав плечами, — в недоумении мимо пройдут! А здесь у них это называется чудом!.. Огромное страшилище, паучье лицо Медузы опрокинулось над карамазовским царством и кровь сосет, и наводит больные сны, и баюкает скорбною песнью, и страхом жестоким колдует! Всякая надежда отравлена жутью, свершаются превращения, насекомые — гладкие, огромные, безобразные — мучают, изводят, мелкие черти водятся всюду, их видят не одни монахи у Зосимы, они грезятся и Лизе Хохлаковой, прыгают, корчатся, чары наводят, душу терзают, хохочут, влекут. «Будто я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все назад. Ужасно весело, дух замирает» («Братья Карамазовы»). У Свидригайлова таких явлений было хоть отбавляй, а, однако, участь его та же, что и Ставрогина: не выдержал на себе карамазовской тяжести, не выдержал больной и пустой тоски!.. Пришлось уступить смерти... Воля Достоевского беспощадна: кто нагрешил, кто осмелился выйти из рамок, тот должен во что бы то ни стало покаяться, а не покается — смерть ему... Достоевский все преступленье свое на Христа взвалил, знал, что Христос все примет. Так делают все. Этим и спасся. Но Свидригайлову это не было дано (для этого ведь дар особый требуется), ему и всем карамазовцам суждено было под защитой дьявола жить, но так как дьявол предоставляет человеку свободу и одиночество и никакого обмана не может дать, — трудно приходится уверовавшим в него!.. Никакого утешения придумать нельзя, а без утешенья прожить разве только идиот может, особенно трудно тем без утешенья жить, которые еще во грехе пребывают, зло любят, порок любят!.. Сильные, погибшие душой в разврате, как Федор Павлович, — те выдержать могут, но остальные? Свидригайлову это состояние очень ведомо было, недаром же у него вырвались такие любопытные слова: «Всех веселее тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть»!

Свидригайлов внешней своей стороной — родной брат Ставрогина. Те же поступки, то же циническое презрение к миру, та же трагическая маска на лице, излюбленная маска Достоевского... «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румянными алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприят-

ное в этом красивом и чрезвычайно молодожавом, судя по летам, лице»... Но в то время, как для Ставрогина закрыты все возможности и все выходы, у Свидригайлова все же возникают просветы в иные миры, и здесь выступает другая сторона карамазовщины — мистическая. Этот зловещий мистицизм происходит несомненно от полового надрыва, от излишней проникновенности к корням жизни, от бесконечно длящегося бреда, бреда страсти, чадного бреда, изводящего... Тихое очарование просвечивает сквозь кошмарную усталость души, сквозь жестокость, сквозь отраву разврата, в пороке и в разврате застыла жизнь, расцвела огненным цветом, дальше идти некуда и нельзя, а жить хочется, какая-то «кошачья жажда жизни» (слова Достоевского) изводит душу, но вот уже выпиты все соки жизни, все ее очарование, вся ее красота и наслаждение, и в глубине — тошнота от прикосновения к зловещей твердости дна... Кто измерил глубину, тому остается испробовать новых путей в ширину, ширь развеивает призраки, уводит в бесконечность, проветривает до облегченности, до подозрительной облегченности, — Свидригайлову эта ширь не совсем улыбается, карамазовская глубь ближе, роднее... Чем глубже в подвалы, чем глубже в грязь узеньких, черненьких переулочков, — тем он себя лучше чувствует, в глубине души своей сам себя распинает, он ведь всего больше клоаки любит, «клоаки и именно с грязнотцой!»... Здесь, может быть, в каком-то юродивом унижении самого себя, в терзании ран души своей — таится больной восторг...

И Свидригайлов — этот румяный, зловеще румяный человек, тоже ухватился за болезнь как за средство проникнуть из глубины куда-нибудь, все равно куда, лишь бы отдохнуть от карамазовских ужасов, лишь бы отвести глаза наконец от паучьего очарования!.. Как и Версиков, — он хватается за соломинку веры, из бездны стремится вверх, на безумие, на болезнь свою возлагает смутные чаяния! Призраки любит, кошмары, видения, в нем фантастика карамазовщины, в нем — утонченная сказка сладострастных грез. «Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновение с другим миром больше, так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир»...

В этих словах — искры надежд Достоевского на религиозное возрождение, это уже отголоски другого мира, лежащего вне границ карамазовщины, но далек Свидригайлов от того, чтобы придавать

им особенное значение, его сущность — только в страсти и в паучьих очарованиях, ему ведома тайна обмана, тайна, которую он не променяет ни на одну из человеческих истин.

Власть дьявола разрушает все пути, власть дьявола закружит душу в трагическом лабиринте безысходности. Карамазовы хорошо знают, что вне «переулочков и трактирчиков» лежит гибель, противоречащая их выстраданной, «кошачьей» жажде жить.

Карамазовское царство — царство обреченное на гибель. Здесь всюду — разложение, впереди — никаких перспектив.

Ибо ничто так не ужасает и не обессиливает, как глубина плоти. Просто не привык человек одной плотью жить, наслаждение не привык освящать, любовь делать таинством.

В этом отношении Розанов прав: религию грусти возлюбили мы паще всего... Понадеяться на плоть страшно, безумие любви принять страшно... А где же торжество личности, как не в любви и в поле? Ведь любовь это и есть анархия личности, сосредоточение себя на своем я, обоготворение себя!... Здесь-то и рождаются самые удивительные миры, здесь-то и жизнь становится особенно интересной, особенно многообразной, полной красоты, таинственного смысла! Но здесь же, на трагедии Карамазовых, видно крушение попыток построить жизнь единственно на личности. Человеческое «я» — самая опасная вещь в мире: кто погрузится в эти недра, кто закружится в водовороте глубины, тому уже суждено погибнуть, тут уж и спасенье потребуется, спасенье станет чем-то необходимым, и краха индивидуализма не избежать!.. Это самая удивительная тайна из всех тайн человеческих. Тогда трагедия надевает зловещую маску (Ставрогин, Свидригайлов), тогда трагедия и безумие одно (Иван Карамазов), тогда носят вериги, веруют в возрождение духа, с страшным бунтом соединяя молитву (Версиров)...

Неизмерима глубина личности, но все это, по Достоевскому, одно преступление, всего этого не вынести человеку, нужно искать искупления, нужно принять наказание...

Тот, кто не побоялся глубины — тот выдержит... Но разве есть такой? Разве не все или стремятся обратно, на плоскую поверхность жизни, или, когда уже стремиться поздно, попадают в сумасшедший дом? Здесь — тайна, ведомая тем лишь, которые приняли на себя обет вечного молчания.

Если кто не побоится безумия — тому здесь рай, но как поступить тем, что и в безумии хотят найти утешенье? В этом отношении судьба Ивана Карамазова очень интересна: он всю силу безумия и всю силу зла и всю полезность всего этого хорошо уразумел, но его ужаснула судьба всего мира, его ужаснула вечность тоски.

Ищущим это состояние хорошо ведомо... Все ищущие жаждут истину найти, но когда между ними и между истиной вдруг возникает бездна, — они чувствуют что-то ужасающее, и навсегда отказываются искать!.. С Иваном Карамазовым случилось то же, — Достоевский ловко успел в эту минуту перебросить мостик между карамазовщиной и религией, — но Ивану Федоровичу стало не по себе. Как и Ставрогин, — он чувствует в душе своей убийственную пустоту. Да и не удивительно: он понял, что такое тот пресловутый круговорот вечности, который Ницше приводил в умиление, а Карамазова да и всех, кто поймет, — только ужаснул своей бесцельностью:

«Теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля, — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...» («Братья Карамазовы»).

Если такова окончательная цель всякого искания, всей жизни и всех стремлений, то кто может не позавидовать Карамазовым и их апофеозу наслаждения? Кто не поймет очарованья минуты, кто сможет устоять перед дьявольскими искушениями?

Ибо, в конце концов, — важно одно: лишь бы забыться — хоть хитростью, хоть обманом, — но только забыться, прихлопнуть рассудок, в забвеньи своем уничтожить мысль о том, что ни цели, ни истины нет и не может быть...

Важно одно: спасенье придумать, все свои силы употребить на изобретение спасенья... Ибо поистине *«всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть!»*.

1910–1912 гг.

Религия. Психологические параллели

<Фрагменты>

В странах холодных, покинутых, угрюмых, в странах глубокой, надрывной тоски, где солнца меньше, где хмурые, серые дни, где в сумерках воет отчаянье, где дикая жизнь и рабская доля, где казематы и тюрьмы, где степи и глушь, и бездонное горе — там ждут Христа с особенной болью, там всего нужнее и ближе Христос!..